

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
Институт мировой литературы им. А. М. Горького

# ПИСЬМА ЗАПРЕЩЕННЫХ ЛЮДЕЙ

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ ЭМИГРАЦИИ

1950–1980-е годы

*По материалам архива И. В. Чиннова*

Москва  
ИМЛИ РАН  
2003

ББК 83.3

*Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)  
проект № 02-04-16044д*

**Письма запрещенных людей. Литература и жизнь эмиграции. 1950–1980-е годы. По материалам архива И. В. Чиннова. Сост. О. Ф. Кузнецова. — М.: ИМЛИ РАН, 2003. — 832 с., илл.**

**Художник  
Николай Козлов**

ISBN 9208-0149-2

© ИМЛИ РАН, 2003  
© Кузнецова О. Ф., 2003

## АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

*Алексей Михайлович Ремизов родился в 1877 году в Москве. В 1897 году за участие в студенческих беспорядках был арестован и 6 лет провел в тюрьме и ссылке на севере России. Эмигрировал в 1921 году, с 1923 года жил в Париже. Писать и печататься начал еще до революции в России, где выходили его романы, переводы, рассказы, сказки, сборники пересказанных легенд. В эмиграции Ремизов печатался на русском и французском языках. Книги, не находившие издателя, издавал сам, ставя на них гриф выдуманного издательства «Оплешник». У Чиннова сохранилось более десяти книг, подаренных Ремизовым, большинство — издательства «Оплешник». И. Чиннов познакомился с Ремизовым в Париже, часто бывал у него дома, а когда в 1953 году уехал в Мюнхен, где стал работать на радиостанции «Свобода», они вели переписку — деловую, по большей части, — Чиннов готовил на радио передачи о русских поэтах и писателях. О Ремизове передачи он не сделал. Позже готовил публикацию его прозы, видимо, в «Новый журнал», но публикация не состоялась. В архиве И. Чиннова сохранилось написанное им предисловие к этой публикации:*

*«Алексей Михайлович Ремизов, москвит, юношей переселившийся в Петербург, стал известен в литературных кругах еще до революции, но широкие читательские круги остались равнодушными к нему до самой его смерти. Большая затейливость, необычайное своеобразие ремизовского писания мешали популярности. Он был в высшей степени *homme de lettres*\*, автор восьмидесяти книг (правда, зачастую тонких), писал слогом, восходящим к семнадцатому веку (что еще подчеркивал своим каллиграфическим почерком в духе эпохи “узорочья”). Его отход от “карамзинского языка” по-*

---

\* Пишущий человек (фр.).

влият на ряд советских писателей, особенно “серапионовых братьев”. Последнее десятилетие жизни в Париже Ремизов, наконец, появился во французской авангардной печати. Но несколько последних лет он очень страдал — слепота положила конец и ремизовской прекрасной каллиграфии и его замечательным рисункам.

Наиболее существенные из книг Ремизова — “Взвихренная Русь” (1927), “Шумы города” (1921) и “Слово о гибели русской земли”\* (1917). Нередко он перелагал своим орнаментальным языком известные литературные сюжеты — но это находило мало ценителей. К сожалению, его высокое литературное мастерство не могло заменить некоторый недостаток духовной питательности».

Отношение к Ремизову в эмиграции было не очень доброжелательное, но все же журнал «Опыты» отметил восьмидесятилетие Ремизова — с приветствиями на страницах журнала выступили В. Вейдле, Г. Иванов, В. Марков. Написанное Ивановым «Слово о Ремизове» мы здесь публикуем. Против чествования Ремизова в «Опытах» резко высказался Г. Адамович (см.: его письмо к И. Чиннову, от 26 августа 1957) — вдохновитель и идеолог поэтического направления «парижской ноты», характеризовавшейся предельной сдержанностью, аскетичностью языка, не мог принять языка Ремизова, называя его «поэзией лжи», «поэзией лукавства». И все же в своей статье о Ремизове (в кн. «Одиночество и свобода». Нью-Йорк, 1955) Адамович, не соглашаясь с Ремизовым, признает его высокий творческий и технический уровень. «С первой строки любой из ремизовских книг чувствуется, что это, как говорится, настоящее», — пишет Адамович, подчеркивая связь Ремизова с Гоголем, от которого «у Ремизова многое: сказочность, пристрастие к какой-то своеобразной внутрироссийской экзотике...»

После своего юбилея А. М. Ремизов не прожил и трех месяцев — он умер 6 сентября 1957 года в Париже.

---

\* Эссе, написанное 5 октября 1917 года. Оно первое в книге А. Ремизова «Огненная Россия» (Ревель: изд. «Библиофил», 1921). Кроме этого эссе, в книгу включены небольшие зарисовки и статьи: «Огневица», «О судьбе огненной», «Огненная Россия».

## ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

5.6.1953

Дорогой Игорь Владимирович,  
Какое внимание Ваше письмо о Дудочке<sup>1</sup>.

Кто будет писать и будет ли писать о ней в Experiments<sup>2</sup>.  
А о мелодии вы ничего не сказали: стр. 9, 83| забота; веселость  
духа; очарование, 39–92| пришел Крысомор, дудит<sup>3</sup>.

О Шестове<sup>4</sup>: следил за счетчиком (его возил бесплатно др.  
Ейминген). Да в этом весь Шестов в жизни. А может этот счет-  
чик не только шестовское, а несообразность человеческой жизни.  
Этот счетчик я много наблюдал в себе и других.

Пантелеймон Романов (Москва) уверился в своем: он Лев  
Толстой, п. ч. родился в Туле.

Летним утром, как сейчас (такое только в Москве и в Пари-  
же) под отдаленный перезвон к водосвятию по Яузе плывет  
х...<в письме — рисунок>. Его видит околоточный Гаврилов  
(глаза после вчерашней), а рассказываю я со слов банщика  
Яшки.

— Да это вся Москва!

Моя автобиография в «Пляшущем демоне»<sup>5</sup> (IX–XVIII) и  
«Подстриженными глазами»<sup>6</sup>. Печатали меня только из мило-  
сердия и с первой книги ругали.

Не печатают: с 1931–1949 г. ни один издатель не взял моих  
книг — 18 лет. И теперь: повесть «В сырых туманах» 4 года  
лежит в «Новом журнале»<sup>7</sup>.

В книге «В розовом блеске»<sup>8</sup> первые две части издательство  
не приняло, начинается книга с III-ей.

А «Оплешник»? — но ведь это я сам на свои «кормовые»:  
когда мне «подают», я возьму себе немножко, а все остальное  
Резникову в типографию.

Когда же Вы вернетесь? Без Вас тут пусто: оскоминные, за-  
лапанные слова.

А. Ремизов.

<sup>1</sup> Книга А. Ремизова «Мышкина дудочка» (Париж: «Оплеш-  
ник», 1953), которую А. Ремизов подарил И. Чиннову.

<sup>2</sup> «Опыты» — литературный журнал, выходивший в Нью-  
Йорке в 1953–1958 годах.

<sup>3</sup> Частично текст указанных А. Ремизовым страниц «Мышкиной дудочки» (стр. 77–84 из книги издательства «Оплешник», подаренной И. Чиннову) мы публикуем ниже.

<sup>4</sup> Лев Шестов (1866–1938) — философ. Друг А. Ремизова.

<sup>5</sup> Книга А. Ремизова «Пляшущий демон». Париж, 1949.

<sup>6</sup> Книга А. Ремизова «Подстриженными глазами». YMCA-PRESS, 1951.

<sup>7</sup> «Новый журнал» — выходит в США с 1942 года. Основан М. А. Алдановым и М. О. Цетлиным. Повесть «В сырых туманах» была напечатана в «Новом журнале» за 1953 год, № 34.

<sup>8</sup> Книга А. Ремизова «В розовом блеске». Нью-Йорк: «Изд-во им. А. Чехова», 1952.

2.1.1954

Дорогой Игорь Владимирович,  
«Статуетка»<sup>1</sup> в «Н. Р. С.» с купюрами. В «Гранях» восстановлено. Посмотрите «Потерянный бриллиант», рассказ о Руманове. Послал в «Н. Р. С.» 2-ую часть «Моей литературной карьеры».

В «Опытах» лежит моя повесть о Петре и Февр<онии><sup>2</sup>, в «Н. Ж.» «Гоголевская тройка», в «Гранях» «Сказки из Панчатантры».

Все идет очень медленно, вылеживается. «В сырых туманах» («Н. Ж.») — 1945 года. Сейчас в наборе «Сны в русской литературе»<sup>3</sup> и одновременно «Тристан и Изольда»<sup>4</sup>. Много возни. Разнообразие для оттенка.

Ваше занятие дает ли Вам что-нибудь для науки?

Есть ли какой просвет — опять Париж и время?

Ваши стихи в «Гранях» выпуклые на чувство — мне их читал ваш суровый почитатель («Грани» 19).

Куда пропал Иваск? Или и вправду задавила Антология — 1000 эмигрантских поэтов<sup>5</sup>. О вас вспоминает Н. Резникова, Горская, Емельянова, Копытчик<sup>6</sup>. И все ждут вашего возвращения в Париж, хотя бы в комнату трех уборных<sup>7</sup>.

В Париже выходит газета «Сулежье», так зову, а как ее печатному не знаю. А. Remizov.

<sup>1</sup> «Статуэтка» — так названа М. Ремизовым глава из повести «Моя литературная карьера», в которой действуют реальные лица. Эта глава была напечатана в газете «Новое русское слово», а потом в журнале «Грани» (1953. № 19). Публикуется ниже по тексту журнала. «Потерянный бриллиант» — глава из той же повести.

<sup>2</sup> Эта повесть в «Опытах» не появилась. Но там у Ремизова были напечатаны «Дягилевские вечера» (1953. № 1), «Судьба без судьбы» (1955. № 4), отрывок из романа «Плачущая канава» (1957. № 8).

<sup>3</sup> Книга А. Ремизова была названа «Огонь вещей», вышла в «Оплешнике» в 1954 году.

<sup>4</sup> Книга А. Ремизова «Тристан и Изольда» вышла в «Оплешнике» в 1957 году.

<sup>5</sup> Ю. Иваск, друг И. Чиннова, издал антологию эмигрантской поэзии «На Западе» (Нью-Йорк, 1953).

<sup>6</sup> Так А. Ремизов называл С. К. Маковского (о нем см. соответствующий раздел).

<sup>7</sup> А. Ремизов в шутку называл маленькую комнату на последнем этаже, которую И. Чиннов снимал в Париже: «Барская квартира — одна комната, три сортира».

6.8.1954

Зайцев<sup>1</sup> именинник

Дорогой Игорь Владимирович,

Ваш почитатель — Деспот Игемон — В. Н. Емельянов уехал, его замещает Утенок из «Мышкиной дудочки». Все делается очень медленно. На Илью вышел «Огонь вещей», а сегодня Зайцев именинник, а книга лежит подписана, а пройти на почту подожду понедельника.

Вышел № 42 *Revue*, статья Чапского<sup>2</sup> и мой портрет под Вия. Поляки культурнее нас.

Я могу вам послать «Пляшущего демона». П., 1949 — моя автобиография в русских веках. XI—XVIII.

«В розовом блеске» (Чеховское издательство) надо добывать, что труднее без В. Н. Емельянова. Все магазины до сентября закрыты, а только Дом Книги открыт, а слать некого. «В розовом блеске» есть у Степуна<sup>3</sup>. В этой книге последняя часть «Вывертедь» — Париж в оккупацию.

Из моих исторических затей издания «Оплешника» у Вас нет «О двух зверях» (Ихнелат) — любимое чтение Московской Руси XV–XVII веков. Эту книгу я пошлю Вам, а «Бесноватых» — достану у Резникова.

«Савва Грудцын» печатается по-французски «La Parisienne». Я вам очень благодарен за ваше внимание. Такая для меня (моего) редкость.

«Иверень» (1897–1906) — продолжение «Подстриженными глазами» (1877–1897) — все еще лежит в Чеховском издательстве. Думаю, ваше слово сдвинет, и перестанут отбрыкиваться. А. Ремизов-слепец.

<sup>1</sup> Имеется в виду Б. К. Зайцев, писатель.

<sup>2</sup> Граф Йозеф Чапский — польский антикоммунист, писатель.

<sup>3</sup> Ф. А. Степун (1884–1965) — философ, социолог, публицист. Жил в это время, как и И. Чиннов, в Мюнхене. Они с Чинновым общались. О чем знал Ремизов.

9.8.1954

Дорогой Игорь Владимирович,

Ударным будет выход моей книги «Огонь вещей» — многолетний труд 1928–1951. Впервые русская литература в снах и предсоньи (Достоевский). [Я подготовил и следующую книгу, набрана, сто моих снов, назову именем нашего снотолкователя «Мартин Задека»<sup>1</sup>].

На днях достану «Бесноватых» и пошлю Вам. А сегодня послал: «В розовом блеске», «Повесть о двух зверях», «Пляшущего демона».

В «Пляшущего демона» вкладываю листок — копия напечатанной заметки в «Новом русском слове» <...> июля 1954 г., стр. 3.

Вас не смутит 5 книг издания «Оплешник»? «Оплешник» — «чудесным образом» <существует> на жертвы бедноты, о чем рассказывает Чапский, а кроме того, управляющий типографией Дг. Резников — кредит и по дешевке, и своими руками: Резников линотипщик. Настоящие же издательства (Чеховское, УМСА, Возрождение) моих новых книг не приемлют.



Если у Вас нет, могу Вам прислать «Stella Maria Maris» («Звезда надзвездная»<sup>2</sup> — стихи, по-еврейски), — но русские поэты не полюбопытствовались. А по-русски для нас, диких, стихи — организованное словесное пространство, граненое вареной ватой или сургучной жвачкой — Антология Иваска.

И мою ученую книгу «Образ Николая Чудотворца» YMCA PRESS, 1931 — последняя книга, после которой 18 лет меня по-русски отказывались издавать. Плохо я пишу, разберете ли? А. Ремизов.

<sup>1</sup> Книга «Мартин Задека. Сонник» вышла в «Оплешнике» в 1954 году.

<sup>2</sup> Книга А. Ремизова «Звезда надзвездная». Париж: YMCA-Press, 1928.

27.4.1956

Дорогой Игорь Владимирович,

Вы научили меня писать не глядя, но только отыскать в книге нужный текст — даю промашку. Гадая, укажу Вам на сказку «Христов крестник». Сказка помещена в моей разошедшейся книге «Звезда надзвездная». Эта книга у Вас есть.

Будете в Париже, загляните. Лучше — в 5 часов, дверь не заперта, толкните ногой и коридором в кукушкину.

По-прежнему наш аптекарь съедает весь мой корм. По-прежнему я прошу милостыню.

С книгами у меня неудача. «Иверень» (вторая часть «Подстриженных глаз») забракован Чеховским издательством. «Тристан» и «Две королевы» — без движения.

Иваска с Розановым не получил<sup>1</sup>, а купить не могу. Верю в промысел Божий и живу беспечно.

Очень рад был получить от Вас весть из Мюнхена. Иваск писал о Мексике. Я подумал, что и Вы перекочевали на черные пастбища питаться рисовыми огурцами с грибным соусом. И вдруг письмо из Мюнхена, и, не по-вашему, четко.

Скончался Сергей Константинович <Маковский> для нашего бренного мира. Заходил прощаться. «Рифма» переходит в другие руки. Все вас вспоминают и хлопают в ладоши. Алексей Ремизов.

Игорю Владимировичу  
СИНОВУ

Мюнхенскому унику  
дудочки не слушайте,  
Напишите для Experiments о Жан-Поле  
в 40-х годах в России любите меня  
и возвращайтесь в Париж

Александр Ремизов

5 VI 1953

Дарственная надпись А. Ремизова на его книге «Мышкина дудочка»,  
вышедшей в издательстве «Оплетник» (Париж, 1953)

[Прилагаю еще «Воскресения день» к «Христову крестнику».]<sup>2</sup>

<sup>1</sup> В 1956 году в Нью-Йорке вышло «Избранное» В. В. Розанова, составленное Ю. П. Иваском, и с его предисловием.

<sup>2</sup> Этого текста среди бумаг И. Чиннова нет. В архиве И. В. Чиннова сохранилось 5 писем от А. М. Ремизова, все они здесь опубликованы.

## ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ НА КНИГАХ

*На книге «Мышкина дудочка». Париж: «Опleshник», 1953:*

Игорю Владимировичу Чиннову, мюнхенскому узнику. Дудочку не слушайте, напишите для Experiments о Жан-Поле<sup>1</sup>, в 40-х годах в России любимое имя, и возвращайтесь в Париж. Алексей Ремизов. 5.VI.1953.

*На книге «Подстриженными глазами». Париж: YMCA-PRESS, 1951:*

Игорю Владимировичу Чиннову, моя жизнь от колыбели до тюрьмы. 24.VI.1877–18.XI.1897. Алексей Ремизов. 17.V.1954.

Когда-нибудь под старость. Хотя бы начало — «Узлы и закруты» — увертюру «Подстриженных глаз».

*На книге «Бесноватые». Париж: «Опleshник», 1951:*

Игорю Владимировичу, мастеру ратного дела, научившему меня писать не глядя, любимую повесть XVII века<sup>2</sup>, вышла из смуты моей и века, когда-нибудь в уединении, закончив срочное, не зная, за что приняться и скоротать время. Алексей Ремизов. 16.VIII.1954. Paris.

*На книге «Звезда надзвездная». Париж: YMCA-PRESS, 1928:*

Игорю Владимировичу Чиннову, моему представителю и защитнику на тараканогорье — темном суде самоуверенных ра-

бов. Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. Алексей Ремизов. 27.VIII.1957.

<sup>1</sup> В 1953 году в журнале «La Nouvelle Revue Française» публиковалась книга А. Ремизова «Подстриженными глазами» (в переводе Н. Резниковой). Возглавляли журнал Жан Полян и М. Арлян, с которыми Ремизов поддерживал отношения еще до войны. Возможно, предлагая написать в «Опытах» о «Жан-Поле», Ремизов имел в виду эту публикацию.

<sup>2</sup> Фрагмент из этой «любимой повести» публикуется ниже.

**Алексей Ремизов**

**СТАТУЭТКА\***

**МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРЬЕРА**

**На 11-ой версте**

Варвара Дмитриевна Розанова читала мой «Пруд»<sup>1</sup> пять раз, «и ничего не понимаю», — говорила она со скорбью; она искренно хотела помочь мне. Василий Васильевич Розанов о «Пруде» слышал из разговоров — всюду говорили и все против; из моих сверстников, как и я начинавших, Иванов-Разумник — в Петербурге, Андрей Белый — в Москве, по-разному, но оба возмущались; за меня наперечет: Лев Шестов, Дягилев, Философов, Сомов, Бакст, Блок и С. В. Лурье. Да, забыл упомянуть старших — моих отцов крестных: Горького и Леонида Андреева — пройдут годы, пока гнев не сменится на милость. И не было газе-

---

\* Печатается в сокращении. По тексту журнала «Грани». 1953. № 19. В предисловии к автобиографичной повести «Моя литературная карьера» А. Ремизов писал: «В судьбе каждого писателя есть своя таинственная статуэтка, и только в истории литературы обнаружится, стоило ли ее беречь в Эрмитаже или это такой вздор, годный лишь на выброс» (Цит. по кн.: Ремизов А. Огонь вещей. М., 1989).

ты, где б меня не выругали, и письма. Думаю — прошло немало годов — вот чем объясняется моя литературная нечувствительность.

В. В. Розанов не менее Варвары Дмитриевны сокрушался, глядя на наш пропад. А всякий раз, как станет он надевать калоши идти в «Новое Время», Варвара Дмитриевна повторяла: «Вася, не забудь, попроси Виктора Петровича»<sup>2</sup>.

Буренин отмалчивался. Но однажды — должно быть, очень надоело — он сказал, что о сумасшедших писать не хочет. Тут Розанов помянул Серафиму Павловну<sup>3</sup>, и о Наташе, и археологию: Буренин сдался. И сдержал слово. В одном разносном буренинском фельетоне я прочитаю о себе и о «Пруде» — несколько строчек, но вразумительных: Буренин выражал свое искреннейшее удивление, что автор «Пруда» еще не на «Одиннадцатой версте», в чем он был уверен, а живет в Петербурге («На одиннадцатой версте» — как в Петербурге говорилось о больнице св. Николая для душевнобольных, на станции Удельная, Финляндской ж.д.).

Я был под негласным запрещением, меня никуда не принимали, в толстых благородных журналах имя мое было пугалом. К. И. Чуковский пытался в «Вестнике Европы» — редактор Е. А. Ляцкий, — там только руками замахали и приняли за шутку: Чуковский предлагал мой рассказ «Слоненок» (Собрание сочинений. Т. 1. Изд. «Шиповник» — Сирин, СПб., 1910–1912).

В 1906 году кончились «Вопросы жизни», конец моей службы: я заведовал хозяйственной частью; и мы остались без ничего. Меня посылали в разные учреждения. Д. В. Философов — в Государственный Контроль. Управляющий Государственным Контролем Ратьков-Рожнов, жена его — сестра Философова, чего, кажется, проще, а ничего не вышло, только смех.<...>

<sup>1</sup> Роман А. Ремизова «Пруд» вышел в 1908 году в Петербурге.

<sup>2</sup> В. П. Буренин — известный в дореволюционной России журналист.

<sup>3</sup> Жена А. Ремизова. Наташа — дочь.

## Статуэтка

День выдался особенный, только в Петербурге такое бывает. После вчерашнего дождя, тумана, когда не видишь перед носом и по улицам идут наугад безликие тени, сегодня с моря подул ветер и вдруг все переменялось. Солнце. И Невский — единственный — выполощенный, вычищен, блестит.

Я шел по каким-то бедовым делам, наслаждаясь, вбирая в себя этот блеск, Невский под солнцем после дождя! — ковровые бесшумные торцы от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры — пространство куда от Триумфальной арки до Конкорд.

Легким шариком катился мне навстречу, я издалека узнаю: Сомов. Он спешит на «сеанс», не помню, чей портрет он рисовал: Вячеслава Иванова или Блока?

Мы стояли под солнцем, блестя, как Елисейские гастрономические стены, бутылки, фрукты и розовая ветчина.

«Непременно в пятницу жду, — прощаясь, Сомов сделал сердечком губы и мягко, но внятно, у него баритон: буду показывать “статуэтку”, — сказал он, — большой секрет, один Валечка знает, я ему сказал, а для других это будет сюрприз».

Статуэтка была сделана по воле императрицы Екатерины «для назидания обмельчавшему потомству»<sup>1</sup>. Статуэтка хранилась в Эрмитаже. Для публичного обозрения недоступна. Об этой исторической редкости стало известно от А. И. Сомова, директора Эрмитажа. К. А. Сомов упросил отца взять на дом — хоть на один вечер, посмотреть. А. И. Сомов долго не решался: будут руками трогать, не повредили б — и вот, наконец, согласился: Статуэтка «торжественно» (так выговаривалось у А. И. Сомова) перенесена из Эрмитажа на Екатерингофский проспект.

Андрей Иванович, «водрузив» драгоценный «ларец» — размер скрипичного футляра — на самом видном месте «под святые», все беспокоился: а ну, как «схватятся»?

А кому хвататься, если вещь находится в полной неизвестности: никто никогда не видал и ничего не знает, как о легендарном обезьяньем царе Асыке.<...>

<sup>1</sup> На вечере К. А. Сомова демонстрировалась фарфоровая «Статуэтка» из собрания Императорского Эрмитажа, изображаю-

щая в натуральную величину фаллос князя Григория Потемкина, фаворита императрицы Екатерины II.

### Потерянный бриллиант

На другой день мне было назначено к Руманову, Морская, 35. Аркадий Веньяминович Руманов<sup>1</sup> представлял в Петербурге «Русское Слово». Это не Котылев с «Петербургской Газетой», шантажом и скандалом, полет выше и глаз острее, и без всяких безобразий мог человека прославить и вывести на дорогу. Перед Румановым заискивали и лебезили. Котылев раздувал Куприна, а без Руманова Рериху не подняться б так высоко и с такой быстротой: о Рерихе трубили в «Русском Слове». И еще связи: Котылева куда повыше *допускали*, а перед Румановым сами лестницы под ноги катились и сами собой распахивались двери.

День Руманова начинается спозаранку, не по-парамоновски, но не вровень и петербургским часам. В 8 утра я был уже на Морской.

Когда проснулся Руманов, я не скажу, но он еще лежал в кровати и говорил по телефону. Перед его дверью я услышал его голос: он называл то «граф», то Сергей Юльевич <Витте>. Я понял, вспомнив стихи в «Жупеле» у Арцыбашева: «Граф Игнатъев сан-стефанский, Витте — граф американский», и терпеливо ожидал окончания.

Разговор подходил к концу. Собеседник, видимо, в хорошем расположении «официально» не хотел оканчивать и спросил: «что нового в городе?»

«Да, ничего нет, да, в пятницу...» — и Руманов, точно кофею глотнув, с необычайной бодростью и темпераментом, как выкрикнул: — «статуэтку»! «Статуэтку» повторил Руманов — барышня, не перебивайте — и для камуфляжу: Столыпин — Ухтомский — Игнатъев — понимаете, “статуэтку” будут показывать...»

«Чья?»

«Не перебивайте... “статуэтку”!»

И тут я понял, что секрет Сомова уже не секрет, о «статуэтке» знает весь Петербург. Комната Руманова, где «вершились государственные дела», показалась очень тесной моим «подстри-

женным» глазам, так что и сесть негде. И очень белой: от газет или от стола — стол, как в больницах, столики. А сам Руманов, еще не одетый, белый — весь в белом — «розовый». Принял он меня очень ласково. У меня было письмо от Розанова. С закрытыми глазами я передал Руманову. Розанов писал: «Его, Ремизова, только никто не понял, это потерянный бриллиант, и всякий будет счастлив, кто его поднимет».

Когда Рославлев «провозглашал» перед Саксаганским о трех великих писателях: Дмитрий Цензор (ударяя на «Цензор»), Владимир Ленский (из «Евгения Онегина», кто этого не знает?) и Алексей Ремизов — мне было неловко, но я понимал, что это игра и по-другому нет возможности убедить Саксаганского принять мою книгу. Но Розановское было от сердца и бескорыстно. Правда, я чувствовал себя «потерянным», это мое с детства, но никогда не представлял себя блестящим. Я все больше убеждался, что душа у меня «мелкая» и разве можно сравнить с Серафимой Павловной? А воображение — без взлета Кодрянской<sup>2</sup> и то, что называется «трепет» — только лихорадочный, а не горячечный.

Я был с Блоком и Андреем Белым, но с первых же встреч я почувствовал свою бедность. В революцию Иванов-Разумник скажет обо мне, сравнивая с Блоком и Андреем Белым, — «бескрылый».

С письмом Розанова я передал Руманову и мои рукописи для «Русского Слова». Руманов пообещал все сделать. И вообще Руманов никогда не отказывал.

Но ничего не вышло: и мои рассказы и мои сказки не подходили к «русскому» «Русскому Слову», это во-первых, а еще, а, может быть, это как раз и есть во-первых, Руманов не разглядел розановского потерянного бриллианта и не «поднял». Я это почувствовал. <...>

<sup>1</sup> Аркадий Вениаминович Руманов (1879–1960) — в России был одним из ведущих журналистов «Русского слова», знаком с Великим князем Александром Михайловичем, которому подбирал материал для его исторических исследований. После революции А. В. Руманов оказался в Париже, печатался во многих, в том числе французских, изданиях. Мы находим его на фотографии среди сотрудников парижского журнала «Числа» (издавался с 1930 по 1934 годы), хотя там он не сотрудничал. И. В. Чиннов с ним



познакомился в Париже и вспоминал с большой симпатией, как об очень милом, шармантном человеке. Говорил, что после поездки в Эфиопию Руманов рассказывал историю о том, как был на аудиенции у короля, и вдруг выходят два льва, «а я как кролик перед ними». Поэтому его стали звать «кролик». В архиве И. В. Чиннова сохранилось письмо от А. Руманова: «2/2-1959. Дорогой Чиннов, милый Игорь Владимирович, отвечаю Вам с опозданием, раздобыл Ваш адрес и в тот же день потерял его! Теперь прибегаю к любезности Гингеров. Ваше доброе внимание к моему 80-летию меня очень тронуло. Никогда не думал, что день 80-летия надо праздновать. Никогда не хотел читать при жизни некрологов о себе. Но мои домашние устроили мне сюрприз и скрыто от меня разболтали. Я рад, что благодаря этому получил Ваши добрые строки. Спасибо. Вы знаете, что я Вас очень ценю, люблю как поэта, и чувствую Вашу духовную красоту. Помню и стихи о русском эмигранте, гуляющем на улицах Парижа, помню Ваши неожиданные и прекрасные эпитеты (в них остро сказывается большой художник), помню весь Ваш облик с пытливым и доброжелательным взглядом, и вообще ценю Вас, и Ваше письмо радостно мне. Да храни Вас Господь! Сердечно Ваш всегда А. Руманов. Жена Вам кланяется (Лидия Ефимовна). Будете в Париже, покажитесь и покажите новые стихи. А. Р.».

<sup>2</sup> Н. В. Кодрянская в эмиграции писала сказки. Дружила с А. Ремизовым. После его смерти выпустила книгу «Алексей Ремизов». Париж, 1959.

## Милосердные

Вернувшись от Руманова, помню с каким восторгом я рассказывал о нем Серафиме Павловне, ведь я был так уверен, что все будет: меня напечатают в «Русском Слове» и деньги. Есть в житейской жизни такие маленькие вещи, вроде зубной щетки, конечно, скажут безулыбные безрадостные люди «и пальцем можно»! — эти маленькие вещи необходимы, но как без денег? Я верил, я получу деньги, и не только зубную щетку, я пойду к Фаберже и куплю жемчужное ожерелье. (Один раз я уже совался, да очень дорого, чересчур!). Я всегда искренно верил, но никогда не огорчался, когда не выходило, это мое исконное «быть готовым ко всему».

До «статуэтки» какое мне дело? Меня занимало «безобразие», а оно в таких случаях непременно. Люди вообще очень доверчивы и пугливы, а это как раз на руку «безобразию». Ну что, если нагрянет полиция, или в самый разгар «сеанса» просто сказать: обыск. «Политически» тут, конечно, ничего, но скандал, конечно, — ведь надо это Эрмитажное сокровище объяснить как-то.

Вот в чем я всегда винюсь: когда разыгрывалось мое воображение о всяких «безобразиях», я совсем забывал, что я не один, а стало быть, в конце концов — все-таки как ни одурачен бывает человек, глаза продерет и разберется, — и тень от меня непременно упадет Серафиму Павловну. Правда, я это скоро понял — ожегся — и уж под всякими предлогами перестал выходить в люди, хоть воображение мое нисколько не пропало. На душе моей много грехов.

Вечером зашла к нам Варвара Дмитриевна Розанова, как я предполагал. И прежде всего она спросила, поедем ли мы в пятницу к Сомову?

Я сказал: «Да, — мы собираемся».

«А что такое Сомов показывать будет, Вася рассказывал?» — Варвара Дмитриевна очень подозрительно посмотрела.

«Ничего особенного, сказал я, свой неоконченный портрет, и не всем будет показывать, стесняется».

И говоря «неоконченный», я против Розанова нисколько не погрешил. Свою мысль о незаконченности Розанов запишет (Короб 1-й, стр. 74).

«А Минский будет?» — уж с каким-то затаенным страхом спросила Варвара Дмитриевна.

«Да Минский давно уехал, он в Париже. Будут Бенуа, Добужинские, конечно, Сергей Павлович Дягилев, Философов, Лансере».

«Так вы едете?» — еще раз спросила Варвара Дмитриевна. И успокоилась.

И начала о своем: советы по хозяйству. И это были не пустые слова, а от желания. У нее, действительно, болело сердце за нас, а как хотела б она, чтоб меня где-нибудь напечатали и у нас были деньги.

Розанов запишет в «Опавших листьях», короб 1-й, стр. 254:

«Нужно, чтоб о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь».

В Париже Эсфирь Соломоновна Познер, как когда-то Варвара Дмитриевна, будет советовать и наставлять по хозяйству и желать денег.

Поминаю и этих двух милосердных женщин, столько тепла и участия было от них в нашей бедовой судьбе.

В хозяйственный разговор: где что купить, и что у нас есть, и чего надо достать и где, в эти кухонные подробности я поминутно встречался. А это не нравилось Варваре Дмитриевне. Наконец она не выдержала, так это было против всей ее природы.

«Василий Васильевич у меня этим не занимается!» — с укором посмотрела на Серафиму Павловну.

Оба мы этот укор увидели, и Серафима Павловна улыбнулась, а у меня на лице заиграло что-то неподходящее.

«Ваше дело писать, сказала Варвара Дмитриевна, мы вам не мешаем, садитесь и пишите».

Варвара Дмитриевна была убеждена, что «писать» и, скажем, «шить» разницы никакой, только что и различие: там перо, а тут игла.

Потом тихонько Серафиме Павловне:

«Очень меня огорчает. Что случилось: последние дни Вася сердится на Алексея Михайловича. “Ноги моей, говорит, у них больше не будет”».

Я сразу как-то — про какую ногу? — и чуть было не сказал, что все это вздор и сердиться ему не на что, что если он сердится, то не на меня, а на А. М. Коноплянцеву: не возвращает Леонтьева. Но встретившись глазами с Серафимой Павловной, я сейчас все сообразил.

«Это все пройдет, сказала Серафима Павловна, пересердится», — и опять улыбнулась своей единственной улыбкой, которой нельзя не поверить.

«Так в пятницу в десять к Сомову — и вместе поедем».

Но только что Варвара Дмитриевна вышла, звонок. Василий Васильевич. И как это они не столкнулись?

«Ну, что?»

«И вместе поедем», — сказал я.

«Ну, слава Богу!»

Розанов, входя, весь как бы сплющился, словно через щель лез, а теперь расправился и на человека похож — на русского писателя традиции Погодина. Я теперь это понял, какое сильное влияние оказал на него Погодин: не рассказами — Погодин

застрельщик натуральной школы, конец 30-х годов, — не пустой лирикой, вроде наставления ученику, а «Афоризмами», манерой в критике со всякими «халатными» (слова Шевырева) авторскими подробностями; ведь самая мысль о форме «опавшие листья» погодинская, так сам Погодин в дневнике записал о происхождении первого тома своих исторических исследований — «груда листков и обрывышков». Погодин и славянофилы, вот откуда Розанов: «Уединенное» из Киреевского «Уединенного мышления». Кроме того, Розанов был внимательнейший и верный читатель Н. Н. Барсукова, жизнь и труды Погодина. В своей рецензии в «Русском Вестнике», 1895 г., он определяет труд Барсукова, как «культурная хроника общества и литературы XIX века», действительно, есть о чем узнать и было — подумать. А самая завязь Розанова — «розановское», таким он родился.

«Только, пожалуйста, оставь хоть на этот вечер свои безобразия; ведь ты для безобразия можешь ляпнуть Варечке, что я вот к вам сегодня уж в четвертый раз. Ну, прощай. Завтра еще загляну. Да, увидишь Коноплянцева, напомни».<...>

## 1919—1941

Зиму 1919 года мы вытерпели на нашей хорошей квартире в доме Семенова-Тянь-Шанского на Васильевском острове. Больше терпеть стало не под силу. Во «Взвихренной Руси» в рассказе «Труддезертир» полная картина нашего «жития». В мае 1920 года мы переехали на Троицкую в «Первый отель Петросовета» (это устроила С. Н. Равич, знакомы с Вологды). С Троицкой мне было совсем близко на Литейный в дом Юсупова — ПТО. Я состоял при М. Ф. Андреевой и дважды в неделю ходил на «призрачные заседания театральной коллегии». Близко мне было и в Дом литераторов на Бассейной, а то изволь переть с 14-й линии! И Серафиме Павловне в Аничков дворец — она учила моряков «2-го Гвардейского “берегового” экипажа».

Во главе «Дома литераторов» стоял Н. М. Волковысский и Харитон, а в совете Д. В. Философов, Петроцев. Секретарем был Ирецкий из «Речи».

Больше сулили, чем выдавали: «ненормированные» продукты. Была столовая, где все-таки можно было чего-нибудь съесть,

конечно, со «своим» хлебом. Бывал Ан. Фед. Кони, Вас. И. Немирович-Данченко, А. Л. Волынский.

Мне особенно памятна одна встреча.

Я вспоминал о ней особенно живо в Париже в дни оккупации в 1940 году: Б. К. Зайцев просил за меня, заведующий вспомоществованием писатель... Тараканомор отказал: по его убеждению, я как сотрудник «Последних новостей» не имел права не только на помощь, но вообще соваться через кого-нибудь с прошением о «вспомоществовании».

И я вспомнил, как однажды в «Дом литераторов» пришел В. П. Буренин. Он робко переступил через порог. Он ничего не сказал; за него сказали «Буренин!»

Вышел Философов, и был очень взволнован, ел что-то и бросил. Философов не дал Буренину слова сказать — я представляю, какие в таких случаях бывают слова (ведь все под мыслью: «прогонят!»). Нет, Философов его взял под руку и усадил к столу.

И все мы, кто был тогда в столовой, все мы — вытянулись. И душу, как вымыло. И свет сгустился. Так — и по-другому не могло быть — тьмой выело бы глаза и оледенило бы сердце. Буренин что-то говорил Философову. Но той робости уже не было. А было: говорит человек.

Как редко взблескивает свет в нашу человеческую тьму; мое счастье: я видел этот свет. Вернувшись домой, я весь был полон этим светом. И когда сказал Серафиме Павловне; что в «Доме литераторов» побывал Буренин, я заметил, какая тревога затенила ее лицо.

«Накормили, — сказал я, — Философов... и Волынский»<sup>1</sup>.

И все лицо ее осветилось.

Вы представляете себе: Философов и Буренин: что может быть обиднее статей Буренина о Философове, и Философов не уступал — дважды с угрозой врывался к нему. Не помню подробностей, но кажется, до мордобоя дело не дошло. И то слава Богу.

И вот встреча. О мордобое я забыл, а про это «нельзя забыть».

<sup>1</sup> Г. Адамович в своих записках «Table Talk» (Новый журнал. 1961. № 64, 66) описал тот же случай, но ему запомнилось поведение журналиста А. Л. Волынского (1861 — 1926), который,

увидев Буренина, отнесся к «своему экс-врагу исключительно сердечно...».

**Алексей Ремизов**

## **МЫШКИНА ДУДОЧКА\***

*Отрывок из книги*

... Я слышал как днем и ночью мышь грызет стены в коридоре под вешалкой у ящиков с газетами. Чудно было слышать, что открыто и без всякой предосторожности, среди беладня ломится в дом. И прогрызла. Конечно, наша стена... а все-таки, стена: стало быть, большое желание и твердое намерение. И вышла.

И совсем это не мышь, а вроде паука, крохотная серенькая, еще мышонок. Вышла из подстенной норки да шарасть в холодящую кухню.

В прежние-то годы разве можно было отзываться так — «холодящая» — и о самой бедной «теплой» кухне! — да и есть-то «абсолютно» нечего, приходится выразиться математически, простого, обиходного слова недостаточно

Думала-думала мышка и надумала: решила мне помогать в моих кухонных делах — мне будет польза и ей кое-что перепадет; так всегда бывает и не с мышами и не в одних кухонных делах, а называется содружество.

Я всегда вымою тарелку, но никогда не вытру. А стал я замечать, что наутро все сухо и гладко, ровно б через пар прошло. В чем дело? Долго я думал и, наконец, додумался: мышка! — она язычком недомытое слижет, а потом хвостиком по тарелке пройдетя и подчистит, вот почему, как через пар прошло. Я Слизухой ее и стал кликать.

Мышке понравилось. Вижу, нисколько меня не боится, покликаешь — я очень плохо вижу — так совсем подойдет близко, рукой взять. И у меня такое чувство: если бы я захотел, она вспрыгнула бы ко мне на колени.

---

\* Из книги А. Ремизова «Мышкина дудочка» (Париж: «Оплешник», 1953).

Чем-то, не знаю, я ее очаровал: или в имени «слизуха» таились мышинные чары, или в моем голосе, как в первый раз прозвучало это имя, или от ее желанья, освободясь от скучных соседей, жить под моим слепым «подстриженным» глазом или наши общие тарелки — содружество?

Однажды Иван Павлыч, когда очарованная мышка притаилась у моих ног, просто взял и сгреб ее в кулак, — и держит, как орешек.

А известно, руками мышей кто ж ловит, и только одному коту в-раз: сшаркнет лапкой и готово, не выскочишь. Иван Павлыч, человек ученый, книжный и письменный, но таких ловильных замашек природой ему не дано, стало быть все дело в мышке.

— Времена шатки — береги шапки! — сказал Иван Павлыч и разжал кулак с мышкой. — Не правда ли?

Мышка встряхнулась, как птица, я думал запрячется в «ордюр», нет, вон она — и лапочкой себе что-то делает мелко-мелко.

Мышка ко мне привязалась. Я вижу и чувствую, как она на меня смотрит. Да некогда мне с ней разговаривать.

Но бывает, среди ночи я выхожу на кухню, присяду к столу, курю мою горькую полынь с одной отупелой пропащей мыслью. Мышка спит за ящиками в коридоре в своей норке, но на мои осторожные шаги непременно проснется и незаметно, как тень, она уже тут на кухне. Я ее вдруг вижу: не отрываясь, она смотрит.

«Мышка, говорю, что нам делать, как поправить?»

И вижу далеко вперед — и это далекое мучает безысходностью и своим непреклонным решением. И вдруг из мучительной сверлящей тьмы взблеснут глаза.

Я понимаю, глаза нечеловеческие, но что они хотят сказать мне о человеческой судьбе? Где-то что-то я уже чую, но не хочу, *я не хочу понимать*. И наперекор *я все понимаю* и ужасаюсь перед беспощадной правдой, я, бессильный повернуть и поправить, но сердце — мое человеческое сердце — не отпускает и только сказать не может, не говорит, как и эта мышка.

И пока я сижу на кухне, мышка не покинет меня.

Приходил от консьержки, я думал водопроводчик.

«Я не водопроводчик, я крысомор!» — сказал он.

Я представляю себе крысомора совсем по-другому, впрочем, какая разница: прочищать трубы или морить мышей? Ломти-

ки черствого хлеба, и по ним размазан, как повидло, «довоенный» яд. Эти оловянные ломтики «водопроводчик» разложил по чувствительным местам: на «Последние новости», на мое вязанное брусничное одеяло и в коридоре около ящиков с газетами, у мышкиной норки. Уходя, крысомор сказал, что зайдет через неделю, он уверен: яд «довоенный», и не останется в доме ни одной мыши.

Я поверил. И пожалел мышку.

«Не ешь, говорю, не ешь! — и пальцем ткнул в отравленный ломтик. — Мало тебе тарелок!»

Мышка, как всегда, смотрела на меня, а не на отраву.

А сам я, когда мыл тарелки, не очень внимательно старался, думая, побольше останется на мышкину долю.

И на утро первым делом прошелся по моровому полю — а мору-то нигде не вижу: все дочиста подобрали за ночь: и на «Последних новостях», и на моей вязанной «бруснике», и у мышкиной норки в коридоре хоть бы заваливающая крошка, чисто, как тарелка.

«Ну, думаю, пропала мышка! А ведь как остерегал, не послушала глупая мышка».

Но я не укорял ее, я о себе думал, о нашей общей доле: «Для мышки повидло, а для меня что? Мне очень спать хочется, — а знаю, мышка не знает: сон для меня отравка».

И ни одной из них не слышно — или вправду, сгнули, как предсказывал крысомор-водопроводчик.

Вечером взялся я за тарелки и уронил полотенце — все-то у меня из рук валится — а без мышки теперь мне будет работа! — нагнулся поднять и что же: около «ордюра» сидит себе мышка, как ни в чем не бывало, и мне показалось, смотрит с упреком: зачем я взял полотенце, отнял ее долю? Очень я тогда обрадовался мышке.

Ждем другого крысомора и без всякого яда. А того водопроводчика засмеяли с его «довоенным»: для проверки ел меховщиков кролик и которые еще остались в доме собаки — «нет, таких нам не надо!» Новый крысомор явится, только неизвестно когда, — его секрет для мышей: не яд, а дудочка: подудит он в свою волшебную дудочку, и на плывучий клик ее — печальной дорогой потянутся мышинные струйчатые хвостики, все мыши до одной покинут дом.



Так было обещано консьержкой извести дудочкой в нашем доме мышей; консьержка теперь не Роза, Розу прогнали за «безобразие», а Костяная-нога с глазами василиска, дело сурьезное.

Посудите сами: пятьдесят четыре квартиры, и в них ютится, по крайней мере, две сотни мышей, а по весне их надо будет считать до двух тысяч. От «довоенного» яда, и тут, конечно, не без повидлы, мыши вошли в раж: они безостановочно «размножались», как днем, так и ночью, не обращая внимания.

«Пустить кота, говорили, и ни одной мыши не останется: от одного духа мыши чумеют!» Легко сказать: кота. Кот получить по счету не ходит, не консьержка, ни в какой «тэрм» не явится, да и кормить надо, без говядины ни один кот не согласится.

И у каждого из нас в ожидании мышино́й дудочки завелся в голове кот, и вертелся.

\* \* \*

Под нами жил учитель из лицея, математик и большой музыкант. Редкий день я не получал от него писем.

«После десяти прошу, — выводил он мелкими алгебраическими буквами, — не ходить по комнате и вообще не передвигаться, и водой не шуметь (он выражался очень тонко) и дверями не хлопать, ничего не перекладывать и не переставлять».

Себя он ставил в пример: вот он от восьми до десяти — два часа ежедневно упражняется на скрипке — и, чтобы не беспокоить соседей, переходит со скрипкой, в неслышных туфлях, из комнаты в комнату, пиля.

Помню, я не сразу ответил, я не находчив, и только после десятка подобных писем пришли слова.

Со скрипкой путешествуя из комнаты в комнату, учитель оскрипил всю нашу квартиру, нельзя было и уголка найти без скрипки, и другой раз пойдешь в уборную и сядешь, не по нужде, а просто чтобы где-нибудь укрыться и передохнуть ушами — так он и туда зайдет и там пиликает, слышу. И каждый раз на скрипку непременно отзовутся соседские собаки: одна воет толсто, другая воет тонко. За стеной собаки, под полом скрипка — от восьми до десяти — два часа ежедневно.

«Но живому человеку, — так ответил я учителю, — ваше требование сверхъестественно, потому что все живое непременно в ходу и в звуке».

Я советовал ему, единственный выход, поселиться где-нибудь на старом Пэр-Лашезе, там только и можно быть уверенно, что ни водой, ни дверьми, ни... скрипкой, никто не зашумит и не хлопнет.

Послушался ли меня учитель или срок пришел, зиму пропиливав на своей скрипке, отдал он Богу свою математически-скрипучую душу.

После покойника долго квартира пустовала. По ночам я слышал, да верно, не я один, как кто-то тонко плачет — и я узнаю скрипку: *туда* со скрипкой не пускают, а тут, в покое, все выпиленные за вечер звуки, без помехи неискусной учительской руки, изливались тонко в плаче.

Совсем недавно, с первыми холодами, квартиру заняли: мать, двое детей и старуха нянька, бретонка. И ночная скрипка развевалась. Потому я и догадался, что новые жильцы. А скоро вернулись времена скрипичного учителя, только на живой скрипке пилила старуха-нянька: благозвучнее, не знаю.

Всякое утро, когда выхожу невыспавшийся, весь издерганный, и в полутьме тычусь по лестнице, меня неизменно на площадке перехватывает нянька. И каждый раз выговорит мне, что по ночам я топаю, и, для убедительности, представит, как я топаю: «топ-топ-топ!» — старуха это скажет толстым голосом, как в сказках детей пугают Крокмитэном или нашей Буробой.

Я выслушиваю молча: что могу ей ответить? — ночью я встаю, и часто, а значит, топаю. И я ей показываю, как я осторожно ступаю, топая: «топ-топ-топ!» — говорю, но не волчьим голосом, а по-козьему.

И все домовые беды и напасти валятся на меня. И когда засорились трубы, и потекло у нас, а к ним стало проникать и капать с потолка, и когда замороженные лопнули трубы, и воду в доме остановили, ходи за водой в соседний, все равно, нянька убеждена, что все от меня, и без меня ничего б не стряслось.

— У вас и водопровод гудит, ровно сирена воет! — и для убедительности старуха делает трубкой свои птичьи палевые губы: — у-у-у... — представляет она сирену.

— У-у-у... — повторяю я за ней, но мои губы дергаются.

Я готов взять на свою совесть сирену, но осьмизэтажную просачивающуюся мочу я не согласен: одному человеку собрать такое количество на всю жизнь не хватит и никакой тряпкой не

выжмешь... тоже и мороз не от меня: я так люблю тепло и никого б не заморозил, и, конечно, трубы.

Старуха не сразу, а что-то поняла: я вижу она не так смотрит. Но она говорит не за себя: ее хозяйка очень недовольна мною и примет меры.

Но какие она может принять меры?

На мышей — мор, а вот не подействовал и довоенный мор; волшебная дудочка? — ждем волшебную дудочку с нетерпением, но против звучности нашего дома? и против мороза?

И я успокоился. Я совсем забыл, что есть Префектура: Префектура обязана принять меры, если не против мороза, то против меня, замешанного во все беды дома с морозом и звучностью.

Пройдя через няньку, обвиниватый, я, готовый на все, начинаю трудный, упорный, насущный день.

Много ли человеку надо для его счастья или — какое там счастье! — а чтобы только вынести черные дни скота?

Только свободный от всяких очередей — я один: мне ничего для себя не надо — ничего такого, чтобы непременно, могу всегда подождать, могу перетерпеть, — я даже не всякий день выхожу на волю, выйду — хорошо, не выйду, — и то ладно, — мои заботы кончились. И только теперь я понял, что мои заботы были тем, что держит человека несмотря ни на что.

Забота: забота не о себе. Это всем понятно. И еще скажу: веселость духа. А это не всякому в толк.

И никогда не поймут, что такое веселость духа, та порода людей — эти окостенелые, эти сухари, эти скелеты, насупленные, безулыбые — все эти подлинно несчастные и обездоленные здесь, на земле, где цветут цветы, цветет и слово, и цвет расцвечает улыбку человека. Они подозрительны, их это беспокоит, они все ведь всерьез. Вот кого мне жалко — как нищих, как обиженных зверей, как сломанную ветку, как затоптанную траву, как падающую с неба звезду. Я вижу эти холодные лица, и на мою улыбку они отвечают мне презрением. Я узнаю их и в книгах — в этой сухой безжизненной литературе, где все ровно, все в шаг, «логично», ну, хоть бы раз кто-нибудь из них да поскользнулся! — окаменелое сердце и окаменелое слово. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры!» Эти слова из веков звучат мне, когда я смотрю на вас из моего затвора.

Забота не о себе и веселость духа, и еще есть, чем жив человек на земле: очарование. Без очарования — только труд и печаль.

А чаровать может не только живое, а и вещи, и совсем не бьющие в глаза — если хотите, простая бумага, те же «тикеты» продовольственных карточек: они дают право на еду, ограничено, не до насыщения, и всегда приходится напихиваться чем-то «подозрительным» — бестикеточным, разрешенным к вольной продаже, но и эта только видимость — студень с мышиными хвостиками — но тоже притягивающая к себе, чарующая...<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Это автобиографичная повесть. А. Ремизов в Париже действительно жил в доме, о котором здесь идет речь, И. Чиннов не раз бывал у него. Письма Ремизова (к Н. Кодрянской, которую Чиннов часто встречал у Ремизова), относящиеся к 1954 году, выглядят как продолжение повести:

«16.I.1954. Очередное обвинение. Письмо управляющего домом: я обвиняюсь, развожу мышей. Письмо я передал Лурье, там какая-то угроза — должен ли я заплатить за 54 квартиры нашего дома, где порошком вышептывали мышей или что-то с собой сделать — не привлекать мышей. Операция глокомы отложена. Др. Зернов — “категорически” против. Меня повезут к Л. А. Бронштейн для проверки только. Как мне надоело возиться с моей слепотой. Вот если бы проснуться и вдруг увидеть строчки.

23.I.1954. Как это странно слова: жалеть и жалить, заботиться и забыть. Ведь тут целая жизнь — мера чувств. Неделя прошла кувырком. Только вчера послал ответ на обвинение “мышинное”. Все как в рассказе Чехова “Мститель”. Лурье затеял обличительный ответ — “поставить их на место”. А кончилось — вместо револьвера купил сетку для ловли перепелов. Все разрешил Никитин и Société des gens de lettres. Я должен сделать ремонт — начну с полотера. Блеск отведет глаза. В 11 час. утра — фотография из Figaro. Фотографию надо одну, а он мигал — магнией — во “всех видах”. Посылаю Figaro (через 10 дней дойдет до вас: Вы там увидите меня, испуган, взъерошен, концов не собрать, хотя сижу смирно под серебряными конструкциями). Статья Dominique Arban — для “большой публики”. Как Ваше чувство: дает ли представление обо мне? Дорогая моя Кукуня, Вы себе представляете мое — и ничего удивительного, что жду Др. Зернова и сижу с грелкой — для меня необычно. И сны плоские.

27.I.1954. В Кукушкиной натирают пол — вчера уговорился полотер, но его профессия: в Пастеровском институте кормит мы-

шей — 60. 000. Глаза у него перемигиваются, как от магния, говорит со щелком орехами». — *Алексей Ремизов «Из писем Наталье Кодрянской» (Опыты. 1958. № 9).*

**Алексей Ремизов**

## **СОЛОМОНИЯ**

*Из книги «Бесноватые»*

Предлагаемый текст — отрывок из первоначального варианта повести об одержимой демонами, написанный Ремизовым на основе русского средневекового сказания. Эту повесть Алексей Михайлович хотел переслать Константину Паустовскому, но он понимал, что машинопись столь мракобесную цензура не пропустит. Поэтому текст переписали несколько «благодетельниц» А. М., в их числе Ольга Николаевна Можайская-Емельянова, мой друг. Две-три страницы «от руки», имевшие вид частного письма, могли миновать цензора. О. Можайская переслала мне пять рукописных страниц, прося их отправить с okazji. Обходным путем они дошли до одного иностранного дипломата, но получил ли их Паустовский — неизвестно. У меня сохранились копии. В 1951 году Ремизов напечатал повесть в «Оплешнике», малым тиражом\*.

*Игорь Чиннов*

---

\* Публикуемый отрывок из повести «Соломония», вошедшей позже в книгу А. Ремизова «Бесноватые» (Париж: «Оплешник». 1951), сохранился в архиве И. Чиннова в виде нескольких рукописных страниц вместе с приведенным предисловием И. Чиннова.

Издавая эту повесть в «Оплешнике», А. Ремизов писал, что сложена она в Великом Устюге и существует в «Записи устюжского попа Иакова 1671 г., а в 7169 (1661 г.) в феврале свершилось». И дело было в «Ерогоцкой волости в сорока верстах вверх по Сухоне, на погосте церкви Покрова Богородицы, при церкви поп Димитрий с женой Улитой, у них дочь Соломония». Ремизов услышал эту повесть, находясь в ссылке, и пересказал, основываясь на записях «попа Иакова».

<...> С этого дня она ходила нагая.

Ее все боялись. И отец и мать. На ночь запрутся: за стенкой у нее вой и хляс, но еще страшнее стуки; стучатся в дверь. А на утро показывала — и в самом деле, копье: «они ей дали — заколи отца».

\* \* \*

В месяц они пришли за ней. Они ластились, нашептывали, льстя ей:

«И разве ей такая жизнь? И это ли жизнь — в пустыне, в печали? — вот у нас».

Шелковые, щекоча, сняли с нее крест.

«Сатана наш отец, — шептали они, — он все создал, что есть живого, это он дал земле в ее трудах радость — любовь. Поклонись ему и останешься с нами, и твоя жизнь будет легка».

Она молчит.

Тогда растянули ее на стене: с раскинутыми руками она висела, и разъятые ноги ее прикованы. Громоздясь друг на друга, острым они кололи ее с шеи до ног: грудь, живот, руки и ноги. Перетрогали всю — ничего не забыто. И, расковав, подхватили и понесли.

В осенней лунной ночи — птицы ли, листья — они неслись над землей и, окося луну, круто опустились на берег. Высоко впереди стоит она — внизу река блестит. И они ее столкнули: она о камень, перевернулась — черная вода. Подхватили — и в реку, и там глубоко — до дна, и глубже — в поддонные ямы.

По поддонным коридорам идет она, скользя по сырому дну — слепую ее тащили за руки. И в свете, прорезавшем тьму, она видит: глаза — и этот свет был от глаз. Она различает: какое бледное лицо, без кровинки! — и они снуют, шепчутся, называют Ярославкой, показывают на нее. Ярославка что-то говорит им, и все вдруг пропали.

«Своей волей?» — спросила Ярославка.

«Силой».

«Откуда?»

«С Ерги — Соломония».

И Соломония рассказала свою жизнь: свое детство и свой месяц с мужем.

«Не по тебе эта жизнь, не надо было выходить замуж!» — и пожалела: — не ешь и не пей и ничего не отвечай, пропадешь».

«А как ты сюда попала?»

«Я другая, — сказала Ярославка, — я от матери».

И Соломония увидела: ее рот полон крови.

.....

В эту ночь она зачала. И носила полтора года. И за это время они ни разу не тронули ее. Она ждала спокойно и все делала, как мать перед рождением ее брата.

Когда пришло время, она упросила отца и мать оставить ее одну. И как только отец с матерью ушли к соседям, вошла в дом темная — деревянная, а глаза зеленые — трава и листья, и стала ухаживать за ней.

И родила Соломония шестерых: синие — головастики.

Их сейчас же лесавка взяла у нее и унесла на реку — и там положила под мост.

К вечеру вернулся домой отец с матерью, заглянули — дочь спит.

— Конечно, все одна блажь! — и спокойно сели ужинать.

А те из-под моста вышли да гуськом к дому — и полетели в окна камни, земля, песок.

Поп с попадьей, как были, выскочили из дому да сломя голову — и с версту и больше бежали и только у соседей опамтовались.

— В доме, — говорят, — такое, живому человеку не выжить: все стекла повывиты: и как еще Бог спас!

А те, расчистив себе дорогу, вошли в пустой дом и к Соломонии и увились на ней шестеро — змей. Пришла лесавка, принесла туис с кровью.

«Птичья, — сказала лесавка, — а брезгуешь, возьми человечью! — и дает ей нож: — зарежь отца».

«Дайте мне еще немного, не тормашите, — Соломония очень мучилась, — я все исполню».

И пересилив себя, она выпила крови и ей стало легче.

.....

Три дня и три ночи прожил отец с матерью у соседей. А когда вернулись, в доме никого: синие унесли Соломонию и с нею ее шестерых.

И опять она зачала и родила двух. И ее унесли с детьми и вернули беременною. Она еще родила одного. И еще двух. Всякий раз появлялась лесавка, приносила ей из леса птичьей крови.

После рожденья десятого и одиннадцатого они, как всегда, пришли за ней и унесли ее с детьми.

\* \* \*

Их собралось большое собрание — пять кругов по четырнадцати: жевластые, отвислые, перетянутые и гладкие и мохнатые и с бородавками, а посреди на троне сам — яр голова змея.

Соломония сидела напротив и чувствовала его пламень.

Синие, висясь, служили им. Принесли всех ее детей — одиннадцать — и разместили около нее. И спрашивали, показывая на нее:

«Кто это?»

И те, как рыбы, давясь воздухом:

«Мама!» — он был доволен.

Приносили и уносили кушанья. Сами ели и ей полные тарелки. Но она не притронулась. И это заметили и недовольны:

«Чай, не падаль, — говорили, — у нас все из больших магазинов, самых первых сортов, парное и свежее».

Расхваливая, уговаривали. Но она как не слышит. И это обидело.

«Если и теперь она не будет повиноваться, мы ее замучаем».

И она испугалась:

«Все, что хотите, — сказала она, — воля ваша».

Перемигнулись, поддержались. Появилась чаша с вином. Эту чашу ей дали: пусть обнесет собрание.

И с чашей она пошла по рядам. И каждый, кому подносила она, назвав свое имя, превращался в одного из тех, кто приходил к ней в ее отчаянный месяц, и глядя завлаженными глазами, требовал пригубить. Но она не пила.

Хмелея, вставали — кружились, под свист затягивали гнусавые песни. Все теснее окружают ее и, воркоча, выманивали в круг:

«Мама!»

С чашей она стояла перед троном — яр голова змея наливалась кровью и пламень его прожигал до сердца.



«Сатана наш отец, — увиваясь, шептали ей в уши, — он все создал, что есть живого, это он дал земле в ее трудах радость — любовь. Поклонись ему и останешься с нами, и твоя жизнь будет легка».

Но, как застыла, крепко держа чашу в руке — вино в ее чаше вскипало.

«Мама! — говорили, — хороша мама, она не кланяется нашему богу, не хочет пить с нами, ее надо на сковороду».

«Зачем сковороду? вскипятим котел, бросим в котел, загнет ноги».

Сковородка или котел? сухой огонь или мокрый? — такое поднялось, забыли и из-за чего: жевластый на кольчатых, кольчатые на отвислых, отвислые на перетянутых, бородавки били гладких, гладкие дубасили мохнатых — землетрясение.

«Да святится имя мое!»

— вздрогнул, ржа, змей — и пламень планул из его уст — тьма — бездны — темнота —

.....

Под свист подхваченная мотней, Соломония скользила по сырому дну поддонных коридоров, слепую тащили ее за руки.

Светя ей, встретила Ярославка:

«Соломония, — сказала она, — я должна научить тебя именам».

И стала называть демонские имена.

А Соломония заучивает.

Не легка показалась наука: были — не выговоришь, и такие — сказать срам. Но Соломония все отчетливо запомнила. И на проверке каждое произнесла легко, как свое: все семьдесят.

«Я тебя отпрошу у них проститься с отцом и матерью, — сказала Ярославка, — эта жизнь не твоя жизнь, ты обречена».

И сказала о Соломонии — те согласились.

И на прощанье:

«Ты можешь открыть отцу свою тайну, не бойся, тебя не тронут, но тяжелую ты ношу возьмешь — ты не знаешь, какую власть имеют имена! — и погибнешь».

.....

Синие вывели Соломонию на землю. Не бросили, как всегда, а окружив, повели болотом — они утопили бы ее в болоте. Да на счастье гроза — такая: гром и стрелы. Много их погибло — и болото как смолой покрыто. А она спряталась от них в яму.

Но ее нашли, вытащили — и опять ударило. И тут уж они отскочили, да кто куда: жжет.

\* \* \*

Сколько ни искали, не было Соломонии ни в лесу, ни на поле, ни на болоте. Думали, погибла. И встретили ее, как с того света.

Рассказала она отцу об именах — все перечислила — и отец записал все семьдесят.

И с того дня всякий день за обедней поп проклинал их в алтаре у жертвенника. А она слегла. И с каждым днем силы покидали ее. Истощенная, лежала она, не ходить, не подняться — смерть караулила ее под окном.

Так все и решили: конец ее мытарствам.

Так и сама она думала: пришло время — скоро Бог прибе-рет.

И видит она: на нее смотрит — и ей дышать легче.

«Кто это, — думает, вся в жемчугах, такая..?»

И та сказала:

«Богуславка! — и улыбнулась, — я Феодора».

И почувствовала Соломония, как силы налились в ней от этой улыбки и имени любимой Феодоры.

«Тут тебе не житье, Соломония, ты пропадешь, переезжай в Устюг».

Никто не верит: не узнать было наутро Соломонию. Она поднялась, она ходила, она разговаривала. Она рассказала отцу о Феодоре.

Шли сборы в Устюг. И больше всех озабочена Соломония: она торопит, ей все хочется поскорей. И когда все было готово, она вдруг изменилась:

— Не могу об этом и слышать.

И так уперлась — и откуда в ней, точно нечеловеческие силы держали ее. И пришлось везти силой.

\* \* \*

В Устюге на соборной площади жила одна знающая вдова попадья, тоже Соломония, у этой Соломонии ее и водворили.

Соборная площадь ближе нельзя, недалеко и церковь Устюжского чудотворца юродивого Прокопия и другого юродивого Иоанна. В собор и к Чудотворцам водила попадья Соломонию к службе.

И первое время развлекало. Но не втянуло. И уж все ей не мило.

Одна дума, одна просьба — домой.

Домой! и о доме только и разговору.

Соборный поп Никита исповедывал ее и причастил. А ей — свету не видит: тоска — домой тянет.

— Все равно, хоть погибни!

Что делать попадье: она по усердию взялась водить Соломонию в церковь, больше она ничего не может. Пошла посоветоваться с Никитой. И Никита пожалел:

— Что же, — говорит, — человеку здесь зря мучиться, ответите к отцу.

\* \* \*

И опять она дома в Ерге. День за днем. И как рукой — совсем поправилась. И этих пяти мытарских лет как не было. Она та прежняя — васильковая. И говоришь с ней, как с человеком, не блажит. И ест и пьет с отцом и матерью, не прячется.

— Хоть впору опять под пастуха! — смеется отец.

У попа шла дума: объявить Матвею и, как полагается, жене к мужу вернуться.

«Пастух-то больно знаменитый, быка осилит».

Тайком мать бегала к пастуху. И уж соседи все узнали. И одни ничего, говорят — «и слава Богу!» А другие не очень — губы поджав, дакали: были на пастуха зарились — завидный жених, а кроме того разочарованы — всегда ведь занимательнее, когда человек с треском погибает, чем когда тихо поднимается.

Сумерки — мечтательный час, и в доме так уверенно и надежно, и вдруг слышат: со двора голос выкликает:

— Соломония полонянка!

И другой и третий:

— Полонянка — полонянка!

Защемленный, глухо:

— Соломония полонянка!

Так из вечера в вечер — восемь вечеров.

И в доме нахмурилось. Не то — не та Соломония.

Тревожно и жутко.

### *Примечание\**

Из всех старинных русских повестей «Повесть о бесноватой Соломонии» XVII в. — самая демоническая и самая документальная — живая жизнь с живой верой, и только по своему необыкновенному материалу полна фантастики. Повесть известна по двум спискам — Костомаровскому и Буслаевскому, напечатана у гр. Кушелева-Безбородко в «Памятниках старинной русской литературы». СПб., 1862–1864. А составлена повесть на основании исповеди Соломонии и свидетельских показаний. Устюжский поп Иаков в 1671 г. взялся за обработку этого фактического материала для сочинения «о чуде устюжских юродивых Прокопия и Иоанна».

Поп Иаков держался «древнего благочестия», но дара любви протопопа Аввакума к «природному русскому языку» не имел и повесть о чуде исцеления бесноватой, насколько это было возможно — уж очень материал-то живой, никаким книжным словом не выговариваемый, — написал книжно и довольно-таки путанно. Да и как было не спутаться? Много ли понимала бесноватая из того, что с ней происходило? Не больше понимал и духовник. Откровенная исповедь, и все, конечно, «просторечием», бредовая и притом сексуальная: скользко было Иакову перевести на приличную, т. е. на книжную речь всю эту «похабную» околесицу. Ведь это же редчайший случай — повесть о явлении фалла, принимающего разные образы, чтобы мучить свою жертву. А Соломония — жертва, принесенная фаллу.

Четырнадцатилетнюю девочку, духовно настроенную, выдают замуж за «пастуха» — повесть начинается с брачной ночи. Все ее существо с первого прикосновения потрясено, разодрано, — и вот фалл принимает зрительный образ «змия», потом «зверя», потом расчленился в незнакомых молодых людей и, наконец, в множе-

---

\* Примечание написано А. Ремизовым при публикации повести «Соломония» в книге «Бесноватые».

ство голых маленьких фаллов-«головастиков» и эти скользкие, навязчивые, неотступные головастики начинают свою «мученическую» работу.

И у потерпевшей, и у записывающего духовника все свелось на бесов — «врагов рода христианского». Да, на какой-то грани эти фаллические демоны, вышедшие из семенной туманности этой жизни всего живущего, Розановской «Кукхи», Гоголевского «Вия», «Тарантула» Достоевского, да, враги, но как и почему и где начинается заклятая вражда, эти вопросы в голову не приходили ни духовнику, ни исповеднице. А между тем, даже в том виде, как вышла повесть в обработке попа Иакова, она глубоко символична и через символы дает на многое ответы.

## Георгий Иванов

### <К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ А. М. РЕМИЗОВА>\*

Мне случайно попала в «еспартийно-национальном» журнальчике «Русский в Австралии»\*\* забавная заметка: «Какие книги читает русский эмигрант». О Бунине там сказано: «Его читают главным образом молодящиеся дамы из старой эмиграции. Остальным клиентам (австралийских библиотек) он неприятен и вызывает единодушное удивление: и за что только ему дали премию Нобеля». После Бунина там же и о Ремизове: «Трудно говорить о Ремизове, как о русском писателе. Пишет он на собственном языке, понятном только ему самому и разве его маме».

Узнав из этой заметки, что, не в пример Бунину, 100%-й популярностью пользуются среди австралийских читателей Шмелев, генерал Краснов и некто Бойков, автор «Сокровища сердца», очевидно, по глубокой несправедливости Нобелевской пре-

---

\* Печатается по тексту журнала «Опыты». 1957. № 8.

\*\* См. номера 1–2–3–4 за 1957 г. Во всех книжках на стр. 1-й обозначено: «еспартийно-национальный журнал, обслуживающий (sic!) интересы русских в Австралии». Ясно — не опечатка, а уточнение «общественной платформы». <Прим. Г. Иванова>.

мией обойденный, я вдруг ощутил жуткий холодок. Ведь если вдуматься, «еспартийный австралиец» выражает не только мнения и вкусы своих идейных друзей. Ну, о Бунине ерунда, юмористика, выходка идиота, но Ремизов... Ведь, в сущности, — отношение к Ремизову и в дореволюционные времена, и в эмиграции — очень недалеко ушло от мнения австралийского библиотекаря.

Конечно, существовали и существуют люди, почитающие Ремизова тем, чем он был и есть: волшебным художником слова, писателем неисчерпаемой словесной и духовной самобытности. Так воспринимали Ремизова Блок и Гумилев, А. Белый и Вячеслав Иванов. Но т. н. «Высокая словесность», пресловутая «общественность», «влиятельная критика»? От первых выступлений Ремизова до вызывающих грустное недоумение (чтобы не сказать большее) иных появившихся теперь в повременной печати приветствий к ремизовскому юбилею, — что получил Ремизов, кроме снисходительного непонимания, за свою долгую творческую жизнь? В России он был всегда где-то «сбоку-припеку», вне «большой литературы», вне «солидных журналов», не скажу вне читателя, но, конечно, читаемый далеко не так, как он это заслужил и заслуживает — своим исключительным даром. Так было в России, так есть и в нашей «охраняющей русскую культуру» эмиграции. Перелистайте каталог Чеховского издательства, отлично знавшего, что столы и сундуки Ремизова завалены его драгоценными для русской литературы рукописями. Просмотрите эмигрантские журналы и времен эмигрантского довоенного (расцвета), и нынешнего времени! Ремизов всюду и всегда на третьем месте, в отрывках, явно с неохотой печатаемый, с оглядкой на читательскую психику. И это писатель, место которого (по определению Гумилева) «высоко-высоко над всеми остальными — где-то между Гоголем и Розановым».

Как пример «стандартного» отношения к Ремизову приведу случай из собственной литературной жизни. В 1916 году в Петербурге начала выходить «Русская воля», газета «американского размаха», — все «самое лучшее» от объема до имен и гонораров. Я был тогда всего лишь 20-летним сотрудником «Аполлона», но, очевидно, по принципу «у нас на все стили хватит», приглашения сотрудничать в «Русской воле» удостоился и я. Леонид Андреев, бывший литературным редактором, заявил мне: «Пишите, что и как хотите, мы вас не стесняем». Но когда я пред-

ложил «для дебюта» статью о творчестве Ремизова, прославленный автор «Анатемы» энтузиазма не проявил. «Пожалуйста, если хотите... но с другой стороны... лучше бы...». Я все-таки настоял. Написал статью и стал ждать ее появления. Но вместо этого был неожиданно вызван, минуя Андреева, к «самому большому начальству» — к главному редактору «Русской воли», профессору Гримму.

Гримм был утонченно любезен. Однако, с сожалением и комплиментами, — вернул мне мое писание. «Как заказанная Леонидом Николаевичем, рукопись, конечно, будет оплачена... Но ни в коем случае “этого” мы поместить не можем...». С «высоты» своего, казавшегося мне тогда наивысшим в мире, звания постоянного сотрудника «Аполлона», заместителя Гумилева, я от души презирал тогда и авторитет Гримма, и всероссийскую славу Леонида Андреева. Сотрудником «Русской воли» (по совету того же Гумилева), я, впрочем, остался. Но с тех пор писал там исключительно о стихах, — в этой области ни Гримм, ни автор «Анатемы» никаких препятствий мне не ставили.

Теперь, на старости лет, я понимаю и негодование Гримма, и неудовольствие Андреева. Долгий опыт литературной жизни давно разрушил мои юношеские иллюзии. И я отлично вижу, что моя тогдашняя статья о Ремизове была попросту «пощечиной общественному мнению». Достаточно сказать, что она начиналась так: «Когда я впервые прочел ремизовский “Пруд” и, особенно, гениальный “Неуемный бубен”, я испытал то же чувство, что Стендаль перед Байроном — “желание поцеловать руку, написавшую это...”».

Прибавлю, что хотя я и отдаю себе отчет в несуразности моей тогдашней попытки поставить «единым махом» Ремизова на соответствующее место, — он для меня и по сей день остается тем же лучезарно-чудесным учителем прекрасного и славой русской литературы.

Еще прибавлю, для мало меня знающих, что излишней восторженностью я никогда не отличался и к большинству моих современников — хотя бы и весьма превознесенных — отношусь, скорее, как Грушенька Достоевского: «А я вам, барышня, ручку не поцелую».

*Утверждено к печати Ученым советом  
Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН*

Научное издание

## **ПИСЬМА ЗАПРЕЩЕННЫХ ЛЮДЕЙ**

**Литература и жизнь эмиграции  
1950–1980-е годы**

**По материалам архива И. В. Чиннова**

Составитель О. Ф. Кузнецова

Оригинал-макет изготовлен в ИМЛИ им. А. М. Горького РАН  
Лавочкиной А. В.

Корректор Сченснович Е. Н.

ИД № 01286 от 22.03.2000 г.

Подписано в печать 01.09.2003. Формат 60x90<sup>1/16</sup>. Бумага офсетная.

Гарнитура Кудр. Печать офсетная. Печ. л. 52,0. Тираж 1000 экз.

Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН

121069, Москва, ул. Поварская, д. 25-а

тел. (095) 291-23-01, 202-21-23

Заказ № 8850

Отпечатано в полном соответствии  
с качеством предоставленных диапозитивов

в ППП «Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер., 6